

Евразійскій соблазнъ *)

„Дни правды дороже воинственныхъ дней...

Судьба евразійства — исторія духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразійскую правду. Но нужно сразу и прямо сказать, что — *правда вопросовъ*, не правда отвѣговъ, — правда проблемъ, а не рѣшеній. Такъ случилось, что евразійцамъ первыми удалось увидеть больше другихъ, удалось не столько поставить, сколько разслышать живые и острые вопросы творимаго дня. Справиться съ ними, четко на нихъ отвѣтить они не сумѣли и не смели. Отвѣтили призрачнымъ кружевомъ соблазнительныхъ грѣш. Грѣзы всегда соблазнительны и опасны, когда ихъ выдаютъ и принимаютъ за явь. Въ евразійскихъ грѣзахъ малая правда сочетается съ великимъ самообманомъ. «Въ нихъ рассказъ убедительно-ложный развивалъ невозможную повѣсть. И змѣицата къвѣта огнивы волновали и мучили совѣсть»... Первоначальное евразійство хотѣло быть призывомъ къ духовному пробужденію. Но сами евразійцы, если и проснулись, то для того, чтобы грѣшить на яву... Евразійство не удалось. Въмѣсто пути проложить гниль. Онь никуда не ведеть. Нужно вернуться къ исходной точкѣ. И оттуда, быть можетъ, откроются новые кругозоры, протянутся новые и вѣрные пути.

I.

Революція всѣмъ застала врасплохъ, и тѣмъ, кто ждалъ ее и готовилъ, и тѣмъ, кто ее боялся. Въ своей страшной неотвратимости и необратимости свершившееся оказалось непосильнымъ.

*) Даганъ вмѣсто интересной статьи Г. В. Флоровскаго, одного изъ основоположниковъ евразійства, въ настоящее время съ нимъ идеино разошедшагося, редакція «Современныхъ Записокъ» отовсюду не беретъ на себя отвѣтственности за всѣ развиваемые авторомъ взгляды.

Редакція.

и внутренній смыслъ и дѣйствительная размѣрность происходившаго оставались загадочны и непонятны. И не легко дается мужество видѣть и постигать.

Есть и была вѣчная и простая правда въ блѣдомъ дѣлѣ и въ бѣлой борьбѣ. Это — правда наивнаго и прямого нравственнаго противленія, правда волевого неприятія и отрицанія мягкнато зла. Но на нравственное прогнѣвленіе нужно имѣть духовно оправданное право. И духовной силы, собираемой во внутреннемъ искусствѣ и бдѣніи, нельзя замѣнить ни пафосомъ благороднаго негодованія, ни жаждой мести. Бѣлый порывъ распался въ страстную торопливость, отравленную ядами «междоусобной брани». Нравственное негодованіе не перегорѣло въ смиреніи, не просвѣтлѣло въ вѣщей зоркости трезвенной думы. Среди грохота историческихъ обваловъ казались страннымъ и неумѣстнымъ задуматься, сосредоточиться, уйти въ себя. Это казалось превратнымъ бездѣіемъ и бездѣйствіемъ, внутренней сдачею и отказомъ отъ борьбы. Максимализмъ бездумнаго, мстительнаго гнѣва разряжался въ кровавое негерпѣніе вѣшняго дѣйствія и вѣшняго конца. Въ такой торопливости нѣтъ подлинной силы и дѣйственной правды. Ибо нѣтъ воли къ покаянію. И нѣтъ зоркости. Ненависть выжигаетъ любовь, а только въ любви духовная зоркость. Легко было поддаваться ошняннѣнью нравственнаго ригоризма, и преть лицомъ зла и злобы, творимой на русской землѣ ея тенерешнею антихристовой властью, духовно ослѣпнуть и оглохнуть и къ родинѣ самой, и потерять всякій историческій слухъ и зоркость. Точно нѣтъ Россіи, и до конца, и безъ остатка выгорѣла она въ большевицкомъ пожарѣ, — и въ будущемъ намъ, бездомнымъ погорѣльцамъ, предстантъ строиться на дикомъ полѣ, на мѣстѣ пуста. Въ такомъ пощѣпномъ отчаяніи много самоубійствія и самодовольства, суженіе любви и кругозора. За совѣтской стѣною скрывается отъ взоровъ страдающая и въ страданіи перегорающая Россія. Забывается ея творимая судьба. И нужно прямо и твердо понять: революція и разруха, обманъ и отравка не убили Россію; и Она живетъ и жива, жива въ безуміи и озорствѣ, жива въ буйномъ хмѣлѣ и злобѣ, жива въ молчаливомъ противленіи, жива въ незримомъ пресображеніи своемъ. Среди бѣсовскаго маскарада, подъ мерзостной маскою *есть творимая Россія*, и проходитъ она по мытарствамъ огненнаго испытанія. И съ нею должна быть наша любовь, любовь сочувствія и любовь противленія, двоичающаяся и строгая любовь. Наша душа должна внутренне обратиться къ Россіи, въ любви отождествиться съ нею. И пріяты ея роковую судьбу, какъ своею судьбу, и перестрадать ея покаанный искусъ.

Не все въ любимой Россіи должны мы принять и благословить. Но все должны понять и разгадать какъ тайну Божія гнѣва, какъ правду Божія суда. *Аще забуду тебе, Иерусалиме, да забудеть забвѣна десница моя . . .*

Нужно понять и признать, русская разруха имѣетъ глубокое духовное происхожденіе, есть итогъ и финалъ давняго и застарѣлаго духовнаго кризиса, болѣзненнаго внутренняго распада. Историческій сбвалъ подготовлялся давно и постепенно. Въ глубинахъ русскаго бытія давно бушевала смута, сотрясавшая русскую почву, прорывавшая на историческую поверхность и въ политическихъ, и въ социальныхъ, и въ идеологическихъ судорогахъ и корчахъ. Сейчасъ и кризисъ и развязка, и расплата. Въ своихъ корняхъ и истокахъ русская смута есть прежде всего духовный обманъ и помраченіе, заблужденіе народной воли. И въ этомъ грѣхъ и вина. Только въ подвигѣ покаянія, въ строгомъ искусствѣ духовнаго трезвенія, можетъ открыться и открывається подлинный выходъ изъ воловоротовъ лживаго зла. На духовный срывъ нужно отвѣтить подвигомъ очищенія, внутренняго дѣланія и собиранія. Только въ бдѣніи и аскезѣ, только въ молитвенномъ безмолвіи накапливается и собирается подлинная сила. — въ молчаливомъ искусствѣ свѣтлѣетъ и преобразуется душа, куется и закаляется творческая воля. Только въ этомъ подвигѣ совершится воскресеніе и воскресеніе Россіи, восстановленіе и оживленіе ея разбитаго и поруганнаго державнаго тѣла. Это трудный и суровый путь. Не имѣть легкихъ и скорыхъ путей для побѣды надъ зломъ, и въ дѣлахъ покаянія дерзко требовать легкости. Предѣльный ужасъ революціи былъ въ нашемъ безсиліи, — въ томъ, что въ грозный часъ историческаго испытанія нечего было противопоставить раскованнымъ стихіямъ зла, что въ этотъ часъ открылось великое оскудѣвіе и немочь русской души. Въ революціи открылась жуткая и жестокая правда о Россіи. Въ революціи обнажаются глубины, обнажается страшная бездна русскаго отпаденія и неврѣности, — «в великой мерзости полна» . . . Нечего бояться и стыдиться такихъ признаній, нечего тѣшить себя малодушной грезой о прежнемъ благополучіи, и перекладывать все на чужую вину. Въ раскаяніи имѣть ни отступничества, ни хулы. И только въ немъ полнота патріотическаго героизма, мужества и мощи.

Въ такихъ историческихъ признаніяхъ, въ остроумъ и живомъ чувствѣ сверхъ-политической и даже-духовной природы русской революціи, и въ призывѣ къ зоркому культурно-патріотическому бдѣнію и раздумью, — въ этомъ была правда и историческое тѣло начальнаго евразійства. — И эта правда оказа-

ласть жестокой для самих евразийцевъ. Они тоже соблазнились с терпѣннѣе, и увлеклись искушеніемъ легкихъ и скорыхъ путей. Въ своемъ внутреннемъ развитіи или, сказать правду, разложеніи евразійство отравилось тѣмъ самымъ соблазномъ жедѣйственной торопливости, съ раскрытія и обличенія котораго оно началось, — отравилось возжеланіемъ быстрой и виднѣнней удачи. Вѣрныя, но бѣглыя наблюденія разрослись въ торопливый и мечтательный синтезъ и обманная, хотя и розовая греза заволочла и окутала историческую быль.

2.

Въ самомъ воспріятіи и въ толкованіи переживаемой современности евразійцы не сумѣли и не смѣли соблазности строгой внутренней жѣры, не сумѣли сочетать свободу историческаго вниманія со свободой высшаго и духовнаго, оцѣночнаго разбора и суда. Евразійцы точно зачарованы историческими видѣніями, развертывающимися вокругъ «въ обстановкѣ величайшаго социальнаго-практическаго переустройства и возбужденія». Они подавлены исторической необходимостью, мощной поступью неотразимыхъ событій. Для нихъ «жизнь есть конкретность идеи», единой, единственной, и потому «истинной». Истину они хотятъ найти и разслышать въ исторической дѣйствительности, въ эмпирическомъ бываніи, какъ ея скрытую, но непреложную тему. И потому въ ихъ сознаніи правило исторической чуткости превращается въ требованіе «слушаться» историкъ, — именно слушаться, не только слушать. Историческій учетъ и признаніе несгѣнно перерождаются въ покорное и даже угодливое пріятіе творимой новизны. Евразійцы не допускаютъ возможности несправедливой исторіи. При всей неизбежности эмпирической неполноты и несовершенства, въ исторіи для нихъ всегда раскрывается, осуществляется и овеществляется правда. И отсюда у нихъ болѣзненный страхъ исторической отсталости, страхъ попасть въ ритмъ событій. Въ безцельномъ испугѣ рождается торопливая готовность уступить зову времени. Евразійцы какъ то върываютъ въ непогрѣшимость исторіи, въ благодѣтельную ритмику органическихъ процессовъ. Они пріемлютъ судъ времени, какъ окончательный и неопровержимый судъ. И отказываются отъ суда надъ исторіей, какъ отъ безучной тяжести ея вселенной и премудрой стихіей, властью, проявляющей себя въ роки исторической судьбы. Въ огнѣнчюмъ судѣ надъ исторіей имъ чудится составъ гордости и насилія, чудится мечтательная откле-

ченность, гордость, неудачливость, отброшенность, «естественно-органическим» процессом развития и брожениящих в обиходном сознании ее ей ненужности и обреченности. Евразийцы готовы подниматься над каждым, кто не поддается с покорностью органическому насилию стихий, как над близоруким изгоем всемогущей жизни. И точно, бывают безнадежно опоздавшие и отсталые люди, остывшие и остудившие безвременно и безвозвратно. Но евразийцы забывают, что судить и осуждать, и отвергать историческую новизну можно не только во имя старого, но и во имя вечного, во вдохновении подлинных святых. В евразийстве оживает «пресловутое змиевое положение» о разумности действительного и действительности разумного, какой то «рубильи и окрещенный «панлогизм». В испуге отвлеченности евразийцы и не замечают, и не хотят заметить греховпаде и грешного расхождения и несоответствия «истинной идеи» и... самой жизни. Это расхождение не только по степени. То правда, что в жизни, во всех ее изворотах и сращениях, раскрываются и осуществляются «идеи». Но не во всякой жизни воплощается одна и та же, «истинная» идея. Мало и недостаточно уловить «смысл происходящего». Может оказаться, что события текут в бедную «падею». — и в этом их «смысл». Подобен ли тогда радоваться, подобает ли разрушительные идеи возводить в мифы и идеалы, как бы ни были они остры и многоцветны, как бы «органически» ни были они сроднены с жизнью... Бывает злая жизнь. И ей надлежит противиться, без примирения и уступок. В таком противлении нет никакой отвлеченности, нет гордости и отчужденности. Напротив, только в праведном противлении осуществляется подлинное смирение. — смирение пред голосом Божией правды, не пред слепым робком. Только в нем преодолевается человеческая гордыня, ошестившая себя в злом направлении исторических событий. Только в нем проявляется высший и подлинный реализм, учитывающий не только извны исторического бытия, но и гораздо более действительные, хотя в исторической эмпирии и не осуществленные Божественные мфы бытия, — Божию волю о мрѣ. Этого высшего и духовного реализма вовсе нет в евразийствѣ. Евразийцы приемлют случившееся и свершившееся, как неотвратимый факт. — не как знамение и судъ Божій, не как грозный призывъ къ человеческой свободѣ.

В евразийствѣ есть воля и вкусъ къ совершившейся революціи: и евразийцы приемлют ее, как обновленіе застоявшейся жизни. Они правы, революція есть «глубокой и существенный процессъ», не «историческое неторазуміе». Въ русской со-

временности динамически интегрирована и интегрируется длительная и сложная предъ-история. Правильно и своевременно говорить сейчас о противорѣчіяхъ и девахъ старой, Петербургской Россіи, въ которыхъ зачиналась и готовилась, и созидала смута. Въ известномъ смыслѣ, конечно, революція есть «саморазложение Императорской Россіи», бурный конецъ Петербургскаго періода. Но смыслъ этого историческаго обрыва евразійцы толкуютъ узко и превратно, въ скудныхъ терминахъ натуралистической морфологии. Весь смыслъ трагедіи старой Россіи сводится для нихъ къ изъкому «псевдоморфозу», къ «разрыву» правительствъ съ «народомъ», къ правительственному насилию надъ народной массой, втѣсняемой въ чужеродныя и тѣмъ самымъ ложныя рамки «европеизма». И торопливое примиреніе съ «новой Россіей», рождающейся въ кровавой вѣбѣ революціи, для евразійцевъ вполнѣ оправдывается совершившимся обнаженіемъ народнаго матеріала, освобожденнаго отъ насильственныхъ наслоевъ.

Любовь къ отечеству — сложное и запутанное чувство: голубь крови и голубь совѣсти соединяются въ немъ, чаще небреживая и заглушая другъ друга, рѣзко сливаясь въ мѣрномъ созвучіи. И до этой мѣры патриотическая любовь должна возрастать въ суровомъ внутреннемъ искусѣ. Этого искусства нѣтъ въ евразійствѣ. Въ немъ недостаетъ строгости къ себѣ, недостаетъ страха Божія, нравственной чуткости, духовнаго смиренія и простоты. Въ евразійскомъ патриотизмѣ слышится только голубь крови и голубь страсти, буйной и хмельной. Патриотизмъ для евразійцевъ есть «пѣвничійся и хмельной напитокъ», не зовъ толга и не воля къ подвигу. Евразійцамъ кажется, будто сейчасъ приходится дѣлать выборъ между интеллигентскою чизостью и новой «народной» силой, и выбираютъ вторую. Они не понимаютъ, что выборъ прѣстолѣтъ между грѣховнымъ самоутверженіемъ и творческимъ самоотреченіемъ, въ покаянной локорности Богу. Не отъ Духа, а отъ плоти и отъ земли хотѣть набраться они силы. Но нѣтъ тамъ и сильяной силы, и Божія правда не тамъ. Для евразійцевъ болѣе чѣмъ достаточно ссылки на «органическое рожденіе» изъ вихря септій, изъ вѣдръ инстинктивнаго самоопредѣленія народнаго, чтобы пріять и оправдать творческую новизну. Въ евразійствѣ пробуждается запоздалый романтизмъ: пабоетъ стихій, ярой, властной, многоплѣтной. Евразійцы вѣсду видятъ стихію. — и любятъ ее, и вѣруютъ въ нее, въ органическіе законы естественнаго роста. Въ силѣхъ себѣ они съ удовлетвореніемъ ощущаютъ «вѣліе преобыкновеннаго стихійнаго погъема силъ», вырывающихся и вырывающихся изъ-подъ разваливъ обреченнаго прошлаго. Петербургъ

для них прежде всего мощный силовой процесс, явление силы, не духа, — развитие, а не творчество и не подвиг. — После великих исторических потрясений поломанные и искалеченные в них люди, от обратного, от усталости и бездния, начинают грезить о силе и мощи, в каком-то надрывном подобострастии предъ стихией. В паоост стихии стираются категорическіи грани добра и зла, какъ какая-то моралистическая условность, какъ прддирка слишкомъ субъективной рефлексіи, несоизмѣримой съ высшею правдой и мудростью исторического сверхличнаго бытія. Не по нравственнымъ и духовнымъ мѣриламъ опредѣляется тогда и опѣливается достоинство людей и событий, но по потенціалу заряжающей ихъ и въ нихъ воплощающей стихійной энергіи и мощи. Такъ складается культъ «сильныхъ» людей, не то «героевъ», не то «разбойниковъ»; и въ немъ получаетъ лагерелигиозное оправданіе право на страсть и волю, съ забвеніемъ о единственномъ дѣйствительномъ и возможномъ пути къ Богу черезъ крестъ и любовь. Есть что-то отъ этого романтическаго перегара въ тене-решнемъ евразійствѣ. Въ какомъ-то смыслѣ евразійцевъ зачаровали «новые русскіе люди», ражіе, мускулистые молодцы въ кожаныхъ курткахъ, съ душой авантюристовъ, съ той безшабашной удачей и вольностью, которая вырѣвали въ оргіи войны, мятежа и расправы. Точно отъ неожиданности, что въ пѣнной и окованной Россіи оказались «живые» люди, евразійцы заглядѣлись на нихъ; и все кажется въ нихъ мило и право уже по тому одному, что они — въ Россіи, сидятъ на родной землѣ, «естественно-органически» вырастаютъ изъ народнаго матеріала. Пусть эти новые люди, этотъ «новый правящій слой» собрался и кристаллизовался вокругъ «воровъ», бездумныхъ и скудоумныхъ, — «выбора у народа не было», рѣшаютъ евразійцы: по нашей скудости и чьлости на «ворахъ» русскій свѣтъ клиномъ сошелся. Въ этихъ «ворахъ» евразійцы увидѣли «воплощеніе государственной стихіи». Ихъ загниотизировалъ большевицкій паоостъ «народоводительства», волевой паоостъ коммунистической партіи, пусть сквѣтной и ложной въ своей идеологіи, но «властной до тираничности». Въ своей практической работѣ коммунисты невольно отобрали «здоровыхъ и приспособленныхъ» и властно обратили ихъ на осуществленіе дѣйствительныхъ, хотя и безсознательно угаданныхъ, народно-государственныхъ цѣлей. «Какъ никакъ», давно уже сознаются евразійскіе авторы, «революція породила *несомнѣнныхъ героев* зла и разрушенія»... Теперь они подчеркиваютъ, — не только разрушенія. Ибо во властномъ паоостѣ коммунистическаго интернаціонала народная стихія «почувствовала формальную личность нужныхъ ей качествъ государственности и власти», па-

шла въ немъ свой кристаллизаціонный центръ и упоръ. Въ дѣйствительности, коммунисты оказались «бессознательными орудіями выродившейся государственности». Они вынесли на себѣ, хотя помимо своего умысла и воли, «новый народъ», новый правящій слой. Въ извѣстномъ смыслѣ, по евразійской оцѣнкѣ, большевики какъ бы спасли Россію — отъ анархіи, во всякомъ случаѣ. И потому евразійцы сознательно и хотятъ быть «слѣдственниками современнаго большевизма», «слѣдственниками совѣтской государственности», — въ психологіи и типѣ, въ паосѣ и внутреннеи строѣ. Они хотятъ и призываютъ равняться по большевицкому приѣму и типу, только переѣнивъ «конструктивный принципъ» съ безбожнаго на религіозный. Страннымъ образомъ они не замѣчаютъ и не понимаютъ, насколько въ формальномъ «типѣ» большевицкаго максимализма отражается и выражается его безбожная безчеловѣчная, бѣсовская сущность. — не чувствуютъ, что при «полярныхъ» основаніяхъ окажутся необходимыми ичородные и ичотные «методы и силы».

У евразійцевъ сложилось совѣтъ не оправданное представленіе, будто революція въ какомъ то смыслѣ уже кончилась и выплавливаніе новой Россіи завершилось. Заглядѣвшись на мнимую социальную стройку, завлеченные «современною страстью къ твердому устройенію и максимализму», евразійцы проглядѣли самое существо русскаго процесса. Они страшно оглохли въ той духовной смутѣ, которая въ дѣйствительности и мучитъ и взрываетъ историческую поверхность. Евразійское вниманіе разсѣялось по социально-политической поверхности, въ евразійскомъ воспріятіи притупляется и меркнетъ весь острый и могучій трагизмъ Русской смуты. Внутри Россіи, въ самыхъ пѣдрахъ русскаго бытія и духа, все еще продолжается смертельная борьба, борьба различныхъ и несоизмѣримыхъ началъ. — и, можетъ быть, именно сейчасъ она, въ наивысшемъ разгарѣ и напряженіи. Раскаленная и расплавленная народная масса все еще въ огнѣ, вулканическія сотрясенія не прекратились, а основной кристаллизаціонный процессъ едва еще начался.

Наивная довѣрчивость къ органической работѣ темныхъ подсознательныхъ силъ соединяется въ евразійскомъ сознаніи съ жужжикомъ, хотя и мечтательнымъ упоеніемъ властью. Ибо «только единая и сильная власть способна провести русскую культуру черезъ переходный періодъ, *канализировать и направить паосъ революціи*». Въ этой сильной власти найдеть и оформить себя сама народная стихія, въ ней воплотится, осуществитъ себя.

Евразійцы признають, конечно, что «зло, дѣйствительно, *сильно въ мірѣ*». Но смутно и наивно представляютъ они себѣ и

дружить пути и приемы борьбы со злом. Они лишь бы мечтают о самоукрощении мятежной стихии через организующую властную волю ее рожденных и ее воплощающих «нравных» людей. Они неосмысливают и недооценивают мощны злостного буртарства и одержимого обоснования в воссоздаемых или процессах органического выростания и сложения «нового народа не менте русского», чьим преемник. Они забывают обь упрямой инерции зла, воссавишася въ самую духовную констелляцию народа, забывают о взощедшемъ въ кровь и духъ нигилизмѣ, безбожии и богоборчестве. Конечно, въ чистое «зло» ни народы ни личности никогда не превращаются, они бывають и становятся *только «злыми»*, только носителями зла, — но этого ограничительного «только» не слѣдуетъ преувеличивать. Ибо «зло» не есть что-то инертное, и не въ качествѣ прибавочнаго груза присоединяется къ «нравнымъ носителямъ»: оно становится для нихъ роковымъ внутреннимъ закономъ, онтологически разлагаетъ своихъ «носителей» и можетъ повести ихъ до полнаго и необратимаго распада — въ окаменѣломъ нечувствіи и нераскаянности. Духовные яды глубоко всосались въ русскую жизнь и еще долго будутъ въ ней чадить и смердеть. И, конечно, не только «старый правящій слой» и язвены и ослеплены ядами историческаго разложения, но въ гораздо большей степени и «новый», рожденный и повзрослѣвъ въ буйствѣ и злобѣ. И напрасно, и вапно надѣяться на выискание и самовывѣтриваніе этихъ ядовъ на ихъ самообетъ иливаніе и самообезвреживаніе. Отъ безспорной дживости историческаго материализма и коммунистической идеологии евразійцы — инокѣмъ неслѣдуетъ заключаютъ въ ся естественному, практическому праху. Разоблаченныя заблужденія въкамъ сохраняють свое роковое обладаніе и злоую власть надъ людьми, и отъ ихъ страшнаго дурмана не въ силахъ безъ благодатной помощи освободиться гибельная человеческая воля, немощная въ добромъ, упорная и упрямая въ зломъ. У евразійцевъ есть какая-то неслѣпая готовность *оталечься* отъ зла, въ излишней доврчивости къ мнимому закону исторической гетерогонии ифией. Имъ кажется, что «потери и жертвы, несомныя въ періодъ возобладація историческаго материализма, *могутъ быть истреблены лишь обнаруженіемъ сути вещей*, которое произойдетъ въ этотъ періодъ». Они какъ то забываютъ, что эти «потери и жертвы» нечлениются въ гьмахъ и гьмахъ живыхъ душъ, замученныхъ, озлобленныхъ и извращенныхъ. — Есть что-то отъ самаго тупого просвѣтительства въ евразійскихъ представленіяхъ о борьбѣ съ добью и зломъ. — на корню усартывая помѣсь тогитовства и русоизма. Точно въ самомъ дѣлѣ, можно весь страдальный вопросъ духовнаго зинченія и преобразова свести къ сль-

ны идеологий, въ замѣнѣ одной «программы» другой, «ясной и четкой», — точно все зависитъ отъ подуманности, настойчивости и упорства...

3.

Евразійцы пріемлютъ революцію въ ея фазы и свершеніи. И вмѣстѣ съ тѣмъ, въ порядкѣ мнимого закона исторической гетерогоніи цѣлей, они подчеркиваютъ несоответвіе и несовпаденіе революціонной онтологіи и замысловъ эмпирическихъ вожаковъ и совершителей смуты, волево коммунистической группы. Коммунистическую идеологию, систему «воплещающаго экономизма», ч историческаго материализма, евразійцы рѣшительно и рѣзко отвергаютъ, и признаютъ, что уже теперь она «стоитъ передъ окончательнымъ крахомъ», «несомнѣно и окончательно погибаетъ», — разложенная въ самыхъ своихъ неповѣрникахъ «сознаніемъ ея неосуществимости и нежизненности». Устойчивости коммунистической идеологіи въ Россіи евразійцы не допускаютъ еще и потому, что она есть плоть чужой «европейской» культуры, послѣднее слово и завершеніе «европеизма», и стало бытъ, не опасно для самоопредѣляющейся «евразійской» души. Силою вещей она неизбежно отпадетъ и уже отпадаетъ. И потому евразійцамъ становится боязно и странно за судьбу «позаго правящаго слова», сложившагося и скрѣпленнаго на коммунистическомъ «упорѣ». Ради спасенія революціи въ ея социально - онтологическихъ достиженіяхъ и итогахъ, для закрѣпленія осуществившагося въ ней великаго народно - государственнаго сдвига, нужно замѣнить выходящуюся коммунистическую идеологию новой, органической системой идей. «Ложной, сатанинской и злой, но огромной идеей коммунизма» нужно противопоставить новую идею, «соразную» ей по міровому размаху, во широтѣ и охватѣ. — нужно найти и противопоставить ей новую «идею-правительницу». Найти ее и подслушать можно и нужно «въ нѣдрахъ общей духовной обетловкаго момента и эпохи». — ибо «Кля идея — сама жизнь». Эта новая идеологія должна сразу «гнать реально силой», — «идеи должны имѣть аппаратъ прямыхъ дѣйствій». Новая «идея должна замѣнить намъ государство, средоточіе и вождя, до тѣхъ поръ пока наше государство, средоточіе и вождя не будутъ реально созданы, сдѣланы идеей... Такъ говорятъ евразійцы. И это возможно только чрезъ *созданіе новой «партіи»*. — правда, партія особаго типа и строя. Въ этомъ типѣ и строѣ евразійцы стараются учесть примѣры и урокъ большевизма. Это — партія единая и единственная, правительствующая, включающая самую «партію-

ную систему», т. е. множественность партийных группировок. Эта новая партия складается и должна складаться на основах единого и общего, конкретного и всеобъемлющего мирозерцания. Это — не простое объединение по частному поведению и для частных целей, хотя бы и политических. — но крепкий и строгий «государственно-идеологический союз», новая «идеологически-политическая лига». Она складается по началу отбора, но отбора органического, творимого самой жизнью. В свободном, изнутри направляемом развитии и росте «симфонической народной личности», в порядке естественной и необходимой социальной дифференциации, выдвигается и складывается в себя своеобразная «соборная личность» второго порядка. «правящий слой», — и в нем, как его средоточие и сердцевина, как его живой стержень, выдвигается новая «государственный актив». — это и есть «единственная правящая партия». Система сплошных и непрерывных органических связей между всеми слоями, уровнями и концентрациями социального бытия обеспечивает прямое и непосредственное соответствие между ними в мысли и воле. Выражая и утверждая *свою* мысль и *свою* волю, правящий слой и правящая партия *тем самым* выражает «безсознательную, стихийную», но твердую всенародную общую волю, которую в себя самих они несут и знают и осознают. Они «формулируют народное мирозерцание», в народных массах «лишь неосознанное, хотя и определенное». И мысль и воля правящего слоя «в нормальных условиях являются в целом и главным лишь индивидуацией и конкретизацией народного сознания», и «существо этого процесса индивидуации и конкретизации — органично». Народная воля органически выражается и осуществляется в сильных людях, в сильном и собранном меньшинстве. В живом и зрячем народе — государственным организмом не может и не должно быть внутренних противоречий, расхождений и натяжений. И потому властное народоводительство единого и единственного полномочного меньшинства не только не включает в себя элементы насилия и диктатуры, но, напротив, представляет собою последовательное осуществление начала народоправства. «Ведущее» меньшинство органически и непосредственно выражает подлинную, хотя и безсознательную волю народа, воплощает и олицетворяет ее, отчеканивает ее в целостную идеологию. Выражая свое мирозерцание и осуществляя свою волю, правительство *тем самым* выражает и осуществляет народное мирозерцание и народную волю. Грядущая правящая партия изображается едразийцами в патетических и героических чертах. «Партия, отвечающая традиции и

потребности (евразійскаго) мѣсторазвитія въ сильной и собранной власти; партія, желѣзная спайка которой проникнута духомъ братства; *партія со своею символической и своей мистикой*; партія, которая используетъ и включаетъ въ себя потребности и навыки русскаго сектанства, и обращаетъ ихъ на служеніе нравственнымъ заповѣдямъ Церкви и мірскому государственному дѣлу; партія, *строющая культуру, какъ систему*.... — Это Партія уже съ большой буквы. И уже не *pars civitatis*, но *pars mundi*, — «послительница и выразительница потребностей и воли великой «*partis mundi*» — Евразія»... Въ избранномъ и отборномъ волею меньшинствѣ народная жизнь получаетъ и обрѣтаетъ свое единство, обрѣтаетъ свое лицо. Евразійцы оговариваются, «само по себѣ» государство есть только «форма»; и все же, по ихъ утвержденію, «на первое мѣсто въ іерархіи сферъ культуры слѣдуетъ поставить *сферу государственную*, преимущественнымъ выразителемъ и носителемъ которой является правящій слой». Ибо *оъ государствѣ*, въ государственной организаціи впервые и вполне осуществляется и выражается единство культурной жизни. Въ немъ и только въ немъ получаетъ «дѣйствительное личное бытіе» симфоническій «культуро-субъектъ». И ни откуда, кромѣ какъ изъ «личной» по преимуществу государственной сферы нельзя получить «личную» организованность и законченность. Поэтому на подчиненныхъ мѣстахъ оказывается не только сфера «материально-культурная», хозяйственная и техническая, но и «сфера духовнаго творчества». Правда, обѣ эти сферы обладаютъ собственнымъ бытіемъ и тяготеютъ къ своимъ собственнымъ средоточіямъ, стремятся каждая стать «соборнымъ» субъектомъ, слагающимся изъ «соборныхъ» личностей низшихъ порядковъ. Но государственное верховенство распространится и на нихъ, и при томъ въ формахъ направляющаго и руководящаго вмѣшательства, — ибо будучи одною изъ частныхъ сферъ, государство есть вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлое, «соотносится» съ другими частными сферами, «какъ цѣлое со своими частями». «Не должно быть какихъ то внѣгосударственныхъ организацій или объединеній», утверждаютъ евразійцы, — но «всякая организація должна быть и органомъ государства». «Правящій слой не такой же субъектъ, какъ субъекты хозяйства и духовной культуры; онъ какъ бы порождается ими для того, чтобы они чрезъ него надъ собою властвовали». Органическое происхожденіе правительства и правящаго слоя въ евразійскихъ представленіяхъ устраняетъ *принципиальную* опасность насилія. Евразійцы согласны, что въ эмпирическомъ и дѣйствительномъ бываніи «государство всегда стремится расширить свою сферу и растворить въ себѣ индивидуальныя и частныя». Болѣе

того, «государственности всегда угрожает разрывъ между народомъ и его правящимъ слоємъ, нарушение органическаго ихъ взаимодействія». Но это относится къ области неизбежнаго эмпирическаго несовершенства и исполноты. И дѣло «государственнаго искусства» находить въ каждое время свои здравыя мѣры сохраненія должнаго и надлежащаго жизненнаго равновѣсія.

Замысль духовнаго преодоленія русской смуты выдохся и взмельчала въ евразійствѣ. Евразійцы не поняли, не сумѣли понять ни его смысла, ни размѣрности, ни сложности; они и упростили его, подмѣнили его другимъ, болѣе простымъ, быть можетъ, но зато и пустымъ, и опаснымъ. Духовное преодоленіе смуты не можетъ ограничиваться эмоціональнымъ опѣночнымъ разборомъ и судомъ. Оно должно быть дѣйственнымъ, творческимъ и трудовымъ. — не должно быть радостнымъ покаяніемъ, бодрымъ подвигомъ національнаго преображенія. Это преображеніе уже совершается. — объ этомъ благодатномъ возрожденіи русской души свидѣтельствуетъ мученическая исторія Русской церкви, гонимой и скитающейся, но торжествующей въ духѣ и силѣ Иліи. И вотъ подлинную творимую Россію евразійцы увидѣли не тамъ, гдѣ есть она, не въ твердыхъ православнаго духа, а у «воровъ». — Всю жуткую и трагическую проблематику религіозно-культурнаго нерероженія и преображенія евразійцы по старой интеллигентской манерѣ свели на задачу созданія новаго *направленія*, новой партіи, единой и единственной, которая должна переслнить выброшенный революціонными бурями «новый правящій слой», съ тираннической властностью сьорганизовать его вокругъ себя и стать его основою и направляющей силой. Допустимъ, въ исторической дѣйствительности такъ иногда бывасть, приходитъ «частночеловѣчскій» или «многочеловѣчскій» Бонапартъ. Рѣшается ли этимъ проблема культурнаго возрожденія и религіознаго восстановленія взвихреннаго въ смутѣ народа?... Сложную и трудную задачу религіозно-творческаго возрожденія евразійцы размѣняли на суетумдріе идеологическихъ упражненій. Допустимъ вывѣтривается коммунистическая идеологія, ничтожная по предѣльному суду, но развѣ не оставляетъ она въ душахъ больного и яловитаго наслѣдія и послѣдствія? И развѣ выздоровѣла одержимая ею душа? И исцѣляютъ ли ее «идеи»? Въ сущности евразійцы стремятся перевести опустошеннахъ людей изъ одной одержимости въ другую, въ «подданство» другой, новой, евразійской идеѣ. И, прежде всего, спросимъ: развѣ душа пустой сосудъ, въ которомъ легко и по произволу можно мѣнять идеологическое содержимое? Врядъ ли. Евразійцы такъ слѣпо вѣрятъ въ подсознательныя силы русской стихіи, что точно ждутъ, что опустошенная душа сама

себя и изъ себя, безъ искуса и безъ подвига, въ процессѣ органическаго роста наполнить абсолютной идеологіей... Евразійцамъ какъ бы представляется, что эмпирическая свобода по отноше- нію истиннымъ истиннымъ дѣламъ и заданіямъ можетъ выражаться только въ *степени* приближенія и совершенства, только въ *степени* сознательности и радѣнія, только въ дѣланіи или не-дѣланіи. Они не чувствуютъ страшной свободы прямого противленія, вз- бранія лжи и зла. И потому именно не понимаютъ до конца рус- ской трагедіи, какъ творческаго искупленія грѣха и вины. Они довольствуются декларацией «абсолютнаго» значенія новой, рож- дающейся русской культуры. Есть страшная и жуткая лживость въ евразійскихъ представленіяхъ о смѣлѣхъ идеологіяхъ, и полное за- бвеніе острого трагизма религиозно - историческихъ процессовъ.

Евразійцы сознаютъ себя «грѣшнымъ максимализмомъ». Въ дѣйствительности, конечно, ни одинъ изъ этихъ призываемыхъ максимализмовъ подлиннымъ максимализмомъ не былъ, — ни чер- ный, ни красный, ни поволыбленный черно-красный. Ибо все это «максимализмы» *средствъ, не заданій*. И во всѣхъ трехъ случа- яхъ тяжелыя и томительныя задачи дѣйствительной жизни свива- ются до уровня и предѣловъ влѣшняго общественнаго строитель- ства и даже простой организациі, при жуткомъ нечувствіи трагиче- ской проблематики духовно-культурнаго творчества. Во всѣхъ трехъ случаяхъ свивается духовное опрощеніе, оскудѣніе и не- мочь, прикрываемое распущенностью страстей и произвола. И въ этомъ общее между ними. Съ этимъ связана и другая общая чер- та. — величайшая духовная узость. кружковской духъ, духъ самъ - превозношенія и полной презрительности къ человѣку, къ челове- ческой свободѣ. Отъ внутренней слабости исчезаетъ пониманіе того, что только свобода есть достаточная и необходимая среда для подлиннаго творческаго самоопредѣленія и творчества. Пассивный лавосъ творчества подмѣняется лавосомъ распределенія и «величества», максимализмомъ власти, не только дерзновенной, но и дерзностной. И въ евразійствѣ, при всѣхъ декларацияхъ «выбѣргѣности», конится и возгрѣвается духъ челоуѣкопони- вистической ветеринаности, духъ властолюбія и порабощенія. Въ немъ искривляются всѣ перспективы, всѣ кругозоры. Подъ при- крытіемъ органическихъ ссылокъ евразійцы откровенно и откры- то потчиваютъ кружковому суду и разбору всю челоуѣческую жизнь. Они кууютъ на песъ идеологическія цѣпи. Въ евразійствѣ снова оживаетъ худшая и самая опасная черта старой интелли- гентской психологіи — дѣлать все на «правое» и «лѣвое», на «благонадежное» и «неблагонадежное», подъ новыми обозначені- ями «старое» и «новое», «европейское» и «евразійское». Евразій-

ство, по своему психологическому складу, есть послѣднее интеллигентское направление, сомнѣвающее въ себѣ всѣ прежніе шлоки. Вся задача сводится къ тому, чтобы плѣвнуть въ послушаніе, въ «подданство идеѣ». Психологическій типъ остается прежнимъ, духовная ткань не обновится, пережѣются только слѣпые вожди у слѣпыхъ по прежнему массѣ. Евразійцы здѣсь переворачиваютъ перспективу. Дѣйствительная религіозная «идеология» есть путь или ступень къ вѣрѣ, а не зрѣлый плодъ. Она свидѣлствуетъ, исполъдуетъ, занечатлѣваетъ молитвенный опытъ, рождается изъ него. Изъ идей вѣры не выростеть, и идеями можно задушить душу, заглушить въ ней самую возможность вѣры. Слѣдовало бы вспомнить хотя бы Достоевскаго, который съ гениальной прозорливостью разоблачилъ обманы и прелести мечтательныхъ идей и идеологій, ихъ опустошительную ваппирическую власть надъ душой...

Съ евразійской точки зрѣнія человекъ всегда «выражается», никогда не творитъ. И потому вся задача общественнаго устройства сводится къ тому, чтобы каждый выражалъ не самого себя, не свою обособленную сажсть, но то высшее «соборное» цѣлое, къ которому онъ органически и кровно принадлежитъ. Каждый долженъ превратиться въ «органъ высшей соборной личности». Евразійцы воскрешаютъ старую мечту о иѣкомъ обществѣвленіи человека. Для нихъ порядокъ обращается: не изъ личныхъ воель слагается и сростается «общая воля», но въ нихъ открывается и проявляется. — въ каждой по своему и по особому, единая въ согласномъ многообразіи. И весь процессъ опредѣляется сзади, изъ темныхъ иѣдръ народнаго подсознанія. Евразійцы вѣруютъ въ возможность и дѣйствительность общей народнои воель. Она для нихъ есть какой то врожденный инстинктъ, «безсознательный, стихійный», и все же «опредѣленный». И остается его разслышать и опознать въ самихъ себѣ и возвести на ступень разумнаго познанія въ четкой и ясной идеологической формулѣ. Въ наивномъ и жуткомъ нечувствіи евразійцы не замѣчаютъ, что народная воля бываетъ въ колебаніи и разяорѣчии, что «народный космосъ» иногда не бываетъ на одно лицо. Не только потому, что единое лицо проявляется во множественности лицовъ. Въ томъ и трагизмъ народнаго духа, — и трагизмъ неизбывный, — что во множественности эмпирическихъ лицовъ открывается не одно лицо. Ибо не къ одному, но ко многимъ предѣламъ стремятся составляющія сложнаго и спутаннаго процесса народно-исторической жизни, множественные личные пути, — и къ предѣламъ взаимно несоизмѣримымъ, и даже полярнымъ. Въ столкновеніяхъ и борьбѣ въ разногласіи и спорахъ отражается несводимая множественность человѣческихъ избраній и пристрастій, расхотя-

щихся по смыслу и по знаку, часто многогранных, но свободных. Всегда есть множество «народных волей», разнозначных и разноточных, и никогда они органически не сливаются въ симфоническое единство. Но въ смутномъ шумѣ противорѣчивыхъ мнѣній всегда слышится и звучитъ и голосъ народной правды. Допустимъ «новый народъ» народился въ Россіи и свидѣтельству-етъ свою волю. Развѣ не можетъ «народный духъ» ослѣпнуть и «народная воля» заблудиться, впасть въ бѣспованіе и обманъ? Конечно, и въ революціи и въ большевизмѣ выразилось и воплотилось нѣчто «народное» и «органическое», — но какое, однако, благое или дживое? И пьяный лѣль злости и ненависти, и мстительный угаръ, и насильничество, и одержимость, и буйство, — все это въ какомъ то смыслѣ, дѣйствительно, «народно». И если Ленинъ и прочіе «воры», дѣйствительно, «кое-что» выражаютъ отъ народнаго дула, если новый правящій слой отчасти «въ себѣ, какъ въ микрокосмѣ, выражаетъ народный космосъ». — не остается излишнимъ спросить, что же они выражаютъ и все ли благополучно въ «народномъ космосѣ». Евразійцы задумываются надъ «силою и длительностью» большевизма, угадываютъ какое-то его молчаливое «пріятіе» народомъ, хотя бы на время. — ужъ не знаютъ ли большевики, въ самомъ дѣлѣ, какую-то гибну народнаго духа, не владѣютъ ли они какимъ то тайнымъ русскимъ словомъ?... Допустимъ, знаютъ; но не есть ли это колдовское и разбойничье слово, бѣсовской приворотъ, манящій и льстящій чтецкому подполью большой души?...

Въ евразійской утопіи противорѣчиво переплетаются и сплнваются мотивы органической теоріи и самаго остраго, просвѣщенскаго рационализма. Здѣсь евразійцы повторяютъ марксизмъ, но всѣхъ его внутреннихъ невязкахъ съ его сочетаніемъ эволюціоннаго фатализма и революціоннаго пафоса. Страннымъ образомъ, революціонное дѣйствіе въ марксизмѣ обосновывается и оправдывается въ послѣднемъ счетѣ именно изъ историческаго фатализма, поскольку дѣйствительное революціонное меньшинство угадываетъ и опознаетъ «естественныя тенденціи развитія», выражаетъ и творитъ высшую историческую необходимость. Въ извѣстномъ смыслѣ, марксизмъ, какъ историческая философія, завершаетъ діалектику протестантской мысли. Реформація началась съ испуга предъ человекомъ съ отчаянія предъ его немощю и ничтожествомъ, со страстливой пересѣчки Божіей мощи. И во внутреннемъ своемъ раскрытіи она обернулась и изопла мірскимъ, безбожнымъ и богоборческимъ гуманизмомъ. Въ протестантскихъ круговорахъ совершенно исчезла и исключалась человѣческая свобода, но именно поэтому человекъ оказывался нѣкимъ медузомъ не-

оборотимой благодати. Вся человеческая действительность относилась за счет Божией воли и силы. Судьбы мира и истории оказывались путем Божиим, путем Божия самооткровения и самоосуществления. В мир и в человека Бог впервые становился самим собою. Гегель раскрыл эту тайну протестантизма, и Фейербах договорил ее до конца. В протестантских предълах из этого необоримого фатализма, из этого пленения личности в текстах хитрого рока, «хитрого разума», оставался единственный выход, — в формальный субъективизм кантовского типа, разлагающий историческую объективность, угрожающий безвольным ригоризмом единственного суждения и оптики. — Евразийцы на слово повѣрили, что от этого сектантского и разсудочного индивидуализма с его атомистическим распадом единственное спасение можно найти в «объективном идеализме», увлекающем идеальную началу в объективный мировой процесс настолько, что стирается и теряется всякий смысл грань между «должным» и «сущим». Ибо «должное» опредѣляется очередным превращением «сущаго». Евразийцы запутались в диалектике «европейской» философии, они сами себя завели в тупики протестантизма. Евразийская историософия не перегорѣла, не очистилась в живительном искусе церковнаго опыта и раздумья. Она всецѣло замкнута в порочномъ кругу реформаціоннаго оскуднѣнія. И евразійцы повторяють и оживляютъ запоздалыя и устарѣлыя грезы ими же обличаемаго «регентскаго Запада». Въ евразійскомъ воспріятіи заплата народнаго лица, заплата народнаго стихія, заслоняетъ великую и жуткую тайну народнаго призванія. *Лицо и призваніе*, они не совпадаютъ, и не всегда по первому разгадать второе. И не только тогда, когда ночью народнычъ лицомъ мы разумѣемъ эмпирической обликъ народа, святой и запечатлѣнный въ томъ или другомъ возрастѣ его историческаго существованія, по даже и тогда, если въ сивгетической интуиціи мы учтемъ всю живую совокупность естественныхъ силъ и возможностей «народнаго духа». Ибо народное призваніе не исчерпывается самоосуществленіемъ естественнаго и своеобразнаго лица. По острому слову Влад. Соловьева, «идея народа есть не то, что онъ самъ думаетъ о себѣ во времена, но то, что Богъ думаетъ о немъ въ вѣчности». Призваніе есть зовъ и заданіе поставленное не только въ эмпирическомъ планѣ, но въ горнемъ и высшемъ въ Божіемъ замыслѣ и изволѣніи. Оно можетъ быть не узвано, не освоено историческою волею народа, можетъ быть ею отвергнуто, не только не осуществлено. Его могутъ подѣлать дожныя и живыя избранія, самозмысленныя и грѣбныя задачи. И тогда померкнетъ и опустеетъ народная душа, хотя и взорвется въ ней бурнымъ пламе-

немъ мятежныя страсти. Можетъ быть, наступитъ часъ бѣднѣи и раскаянія. И въ строгомъ искусѣ вернется народъ къ своему призванію, — но вернется не чрезъ самоутвержденіе, не чрезъ гордость хотя бы очень кровной и коренной стихій, но чрезъ самоотреченіе, чрезъ волевой отказъ, чрезъ покающее освобожденіе отъ тяжелаго и рокового наслѣдства, отъ прежнихъ ложныхъ избраній и порожденнаго ими злого историческаго груза превратныхъ пристрастій и пагубной любви. — Надолго, навсегда остаются на историческомъ апѣдѣ народа трагическіе рубцы и швы, слѣды былыхъ грѣхонадеій. И въ свѣтъ горняго призванія они выступаютъ еще рѣзче. «О, недостойная призванія ты призвана!», — въ этомъ основное натяженіе пародно-историческаго бытія. Но никогда не бываетъ историческій путь народовъ «изуметь зерна», путь развѣія. Либо это есть подвигъ, подвигъ чванія и осуществленія вышшаго зова, либо паденіе, прогнѣвленіе, отступничество, непризнаніе и неосуществленіе своего подлиннаго призванія и задачи.

4.

Евразійцы чувствуютъ и опредѣляютъ себя, какъ «осознатель русскаго культурнаго своеобразія». И съ большою настойчивостью и упорствомъ подбираютъ и накопляютъ признаки и свидетельства этого своеобразія. Въ этой регистраціи проявляется немалая наблюдательность. Но со своими реестрами евразійцы плохо справляются, и смутно понимаютъ ихъ дѣйствительный смыслъ. Своеобразіе они открываютъ всюду, начиная отъ «мѣсторазвитія» и вплоть до религіозной области. Съ большимъ вниманіемъ они изображаютъ въ подробностяхъ «географическія особенности Россіи», подчеркиваютъ своеобразіе этническаго состава, не забывая даже объ особенностяхъ расоваго коэффициента гемоглобинаціи народовъ евразійскаго материка. Они заняты морфологіей Россіи-Евразіи и на это уходитъ все ихъ вниманіе. Географическое единство и своеобразіе «евразійской» территоріи настолько поражаетъ ихъ, что *въ ихъ представленіяхъ подлиннымъ субъектомъ историческаго процесса и становленія оказывается какъ бы территорія*, — даже не народы. Поэтому исторія русскаго народа и растворяется для нихъ въ исторіи Евразіи, какъ своеобразной среды и «мѣсторазвитія». Правда, сама территорія *измѣняется* въ историческомъ бываніи, подъ «психическимъ и физическимъ давленіемъ» населяющихъ ее народовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ именно территорія является основнымъ фактомъ и факторомъ историческаго процесса. Евразійцы *не отрицаютъ* наличие

ности и действительности «начала, вмѣстѣ съ», по эти начала неизбежно преломляются черезъ «мѣсторазвитія», облачаются въ «мѣстные одежды». Это относится даже къ «религіознымъ принципамъ». Здѣсь, по евразійскому сужденію, предъ нами *такое же общее начало какъ начало «жизни»*. И подобно тому, какъ «общее начало жизни» осуществляется во множественности видовъ и «мѣстныхъ» типовъ, и только въ нихъ, такъ и «религіозные принципы» получаютъ по «мѣсторазвитіямъ» многообразное выраженіе и только въ совокупности этихъ «мѣстныхъ» выражений могутъ осуществиться. «Религіозныя начала» такимъ образомъ вводятся въ составъ культурно-типового своеобразія, въ множественности «мѣстныхъ одеждъ», въ каждомъ типѣ въ своей. И въ охраненіи этого своеобразія евразійцы опасаются трогать и мѣнять эти «одежды». Въ этомъ есть острый привкусъ религіознаго релятивизма. Точно можно въ самомъ дѣлѣ всѣ историческія религіи и религіозныя формы разсматривать какъ равноправныя «индивидуація» или воплощеніе общей религіозной стихіи, однихъ и тѣхъ же «религіозныхъ началъ».

Евразійская исторіософія отличалась по морфологическому типу. Евразійцы остаются морфологами, начиная съ давнихъ разсужденій объ «Европѣ и человѣчествѣ» и кончая новѣйшими «основами политики». Съ морфологической точки зрѣнія Россія есть особый и особенный, самостоятельный, живой организмъ, «своеобразная культуроличность». Съ этой точки зрѣнія всякій дѣйствительный субъектъ историческаго процесса есть нѣкая «симфоническая личность», отъ рожденія и даже отъ вѣчности одаренная особыми и опредѣленными задатками и строемъ, которые должны раскрыться и въ историческомъ бываніи органически раскрываются въ системѣ народно-культурнаго бытія, — всегда съ непреодолимой неполнотой и несовершенствомъ, не въ одномъ, но во многихъ, чередующихся воплощеніяхъ, изъ которыхъ каждое въ своемъ мѣстѣ и въ свое время закономѣрно и необходимо, какъ закономѣрна и необходима и вся совокупность послѣдовательныхъ воплощеній. Проблемы своеобразія, самобытности, органической вѣрности врожденному или данному типу, — эти морфологическія или социологическія проблемы занимаютъ полностью весь евразійскій кругозоръ. И при этомъ кажется, что историческая морфологія истощиваетъ до два смысла и содержаніе культурно-исторической проблемы.

Морфологическое пониманіе русской самобытности мы впервые, но съ полной отчетливостью встрѣчаемъ у кн. Вл. Одоевскаго. Народы и всѣ человѣческія общества въ его представленіи суть «живые организмы», и организмы замкнутые и непроницаемые

другъ для друга. И каждый изъ нихъ слагается по своему типу, и въ немъ проходитъ свою историческую судьбу, отъ младенчества до старческаго конца. Изъ сочетанія и смѣны такихъ разнообразныхъ и неповторимыхъ народныхъ судебъ слагается исторія человѣчества. Въ судьбѣ современной Европы Одоевскій видитъ всѣ слѣды старческаго разложенія, взсяканія силы и воли, органической распадъ и разладъ отдѣльныхъ сферъ жизни. На смѣну умирающему подрастаетъ новый, свѣжій и юный народъ, полный силъ, «непричастный преступленіямъ стараго міра». Исторіософическія схемы Одоевскаго какъ бы продолжаетъ Герценъ. Но у Герцена онѣ наполняются обильнымъ фактическимъ содержаніемъ, получаютъ логическій блескъ и чеканъ. Смыслъ остается тотъ же. Въ чередованіи временъ смѣняются другъ друга народы, народные организмы, несродные и несходные другъ съ другомъ, какъ несродны и несходны между собою отдѣльные животные виды. И каждый проходитъ свой путь, свой кругъ развитія, отъ зарожденія до смерти. Каждая народна я жизнь очерчена и ограничена въ своихъ возможностяхъ врожденнымъ составомъ силъ и задатковъ, и только въ безсильной грезѣ можетъ разорвать этотъ роковой кругъ. Западъ умираетъ послѣ долгихъ вѣковъ славной жизни и послѣ безславной старости, безсильный осуществить свою послѣднюю мечту и думу, — «соціализмъ». И вотъ на исторической сценѣ появляется новое племя, новый народъ, безъ грузаго прошлаго, съ избыткомъ мощи и воли къ силѣ, — славяне и Россія. Есть тайное счастье въ томъ, что органическое сложеніе славянскаго племени въ точности соответствуетъ западному завѣтному идеалу, который роковымъ образомъ расходится съ западнымъ европейскимъ органическимъ типомъ. И потому предоставленная самой себѣ, вѣрная своему своеобразію, своему жизненному типу, Россія съ неизбѣжностью пройдетъ свой особенный путь, непохожій и отличный отъ европейскаго; и въ органическомъ развитіи своемъ осуществить соціалистическую мечту. Ибо такъ сложился, такъ уродился ея живой организмъ. Въ пониманіи Герцена всемірная исторія, исторія «человѣчества», слагается изъ замкнутыхъ и множественныхъ цикловъ, совпадающихъ во времени или смѣняющихся другъ друга. Въ сущности, — это старая биологическая теорія постоянства множественныхъ видовъ, перенесенная въ историческую область. Такъ слагается *теорія культурно-историческихъ типовъ*. — Странно сказать, но именно Герцена договариваетъ въ своей книгѣ Данилевскій, и за скучиноватымъ Данилевскимъ блестящій Леонтьевъ. Для Леонтьева исторія есть человѣческая биологія. Откровенно и открыто онъ поднимаетъ жизнь народовъ и человѣческихъ обществъ общимъ и непреложнымъ зако-

намъ органической эмбриологии. Изъ биологій ведутъ свое начало историческія понятія и представленія и Данилевскаго и Леонтьева. Есть множественность культурно-историческихъ типовъ, въ своей жизни и развитіи замкнутыхъ другъ отъ друга и ограниченныхъ въ своихъ врожденныхъ характерахъ, но сталкивающихся въ борьбѣ за существованіе. У каждаго все свое. У каждаго свои задачи, но онѣ поставлены въ прирожденномъ типѣ, и сводятся къ познотѣ и многоцѣлности проявленія своего лица. У каждаго своей роковой прелѣтъ жизни. Смыслъ народно-историческаго существованія въ полнотѣ цвѣтенія, а затѣмъ — вырожденіе и смерть. Западъ уже умираетъ, о Россіи тогдака Леонтьева двойтсѣ. Мучительная и страдная религіозная драма самого Леонтьева не должна заслонять отъ насъ того неожиданнаго факта, что у него не было христіанской философіи исторіи. — ее замѣнила натуралистическая морфологія исторической жизни, невольно перерождавшаяся въ не-христіанскую философію исторіи. Весь смыслъ историческаго бытія для Леонтьева въ томъ, чтобы жизнь прожить, отъ зачатія до неизбежнаго гроба. И каждый долженъ прожить ее по своему и какъ можно ярче. Острый релятивизмъ историческихъ сужденій Леонтьева только подчеркивается широкою его эстетическою пристрастіей, котормъ онъ не безъ цинизма подчиняетъ все чирла и начала опытки, чтобы не урѣзать, не околотить полноты и множественности жизненной игры.

И здѣсь мы подоходимъ къ неожиданному наблюденію. Рожденная и построенная въ цѣляхъ опознанія и оправданія національнаго своеобразія защиты исторической самобытности отъ идеи «общечеловѣческой цивилизаціи» теорія историческихъ типовъ приводитъ къ утверженію челоѣчества, какъ *единого существа*. Исходный «пакрализмъ» оборачивается потъ коонецъ самачъ осерымъ субстанціальнымъ «монизмомъ». Это понимать я ясно высказывалъ самъ Данилевскій, противопоставляя идеѣ «общечеловѣческой» цивилизаціи идею цивилизаціи «всечеловѣческой». Только совокупность разнородныхъ и разнообразныхъ типовъ и культуръ совмѣстно выражаетъ богатую и сложную сущность челоѣчества, но именно ее — сущность челоѣчества. «[Для коллективнаго и все же конечнаго *существа челоѣчества*», по словамъ Данилевскаго, «*нѣтъ иного назначенія*, другой задачи, кромѣ разновременнаго и разноцѣтнаго (т. е. разноплеменнаго) *вырженія разнообразныхъ сторонъ и направленій жизненной дѣятельности, лежащихъ въ его идеѣ* и часто несовмѣстимыхъ какъ въ одномъ челоѣкѣ, такъ и въ одномъ культурно-историческомъ типѣ развитія». Это разсужденіе невольно напоминаетъ и предвосхищаетъ мысль Бергсона о вѣрообразномъ раскрытіи жизненна-

го порыва, во многообразіи расходящихся навстрѣчу путей осуществляющаго иначе не осуществимую полноту своихъ изначальныхъ потенцій. Во множественности и только въ исчерпывающей совокупности типовъ развитія воплощается и осуществляется идея человечества, и каждый типъ нуженъ и неизбеженъ въ свое время и на своемъ мѣстѣ, и именно въ своемъ своеобразіи, не ради чего иногда, какъ ради блага или жизненной полноты всевеликаго и многоликаго Существа. Освобождаемые отъ гнета и рабства «общечеловѣческимъ идеаламъ» народы въ итогѣ морфологическаго толкованія оказываются «отданными въ кабалу до рожденія» роковому процессу всечеловѣческаго развитія и роста. Они живутъ для себя только по видимости, — въ послѣднемъ счетѣ они служатъ, и при томъ безсознательно и невольно, «прогрессу кораллового рифа». Въ такомъ скудномъ итогѣ послѣдняя мудрость исторической морфологии. И въ ней не только снимаются опѣлки, онѣ дѣлаются невозможными. Типы уравниваются по цѣнности и смыслу, ибо все мѣрила поглощаются въ мѣрилѣ «всечеловѣческой» надобности и пользы.

Въ евразійской морфологии историческихъ типовъ теряется проблема христіанской философіи исторіи. Схемы и типы заслоняютъ конкретную и трагическую судьбу. Евразійцы не пережили до конца тѣхъ старыхъ уже русскихъ думъ о Россіи, въ которыхъ превзойдена узость морфологизма и учтена его правда. Была скрытая, но вѣщая правда въ томъ, что проблема русскаго своеобразія была поставлена сразу въ видѣ антитезы Россіи и Европы. Это случилось не только потому, что силою историческихъ превратностей Россія была брошена въ душныя объятія Европы, что внутри самой Россіи сложилась своя внутренняя «Европа», и русскій историческій ликъ двоялся. Смыслъ встрѣчи Россіи и Европы нельзя свести только на «тактическую» необходимость. Напротивъ, въ такомъ толкованіи и заключалась основная опасность извращеннаго «европеизма». При «тактической» встрѣчѣ душа, духовная природа Европы остается неузнанной и непонятой, — подлинная встрѣча не осуществляется, и потому не удастся найти творческую мѣру соотношенія съ Европой. «Поворотъ» къ Европѣ былъ нуженъ и оправдывался не техническими потребностями, но единствомъ религіознаго заданія и происхожденія. Въ этомъ живомъ чувствіи религіозной связанности и сопринадлежности Россіи и Европы, какъ двухъ частей, какъ Востока и Запада, единаго «христіанскаго материка», была вѣщая правда старшаго славянофильства, впоследствии съ такою трагической силою и яркостью пережитая и выраженная Достоевскимъ. Въ такомъ признаніи не только не стирается, но впервые четко проводится твердая и ясная

граница между православной Россией и неправославной Европой, — проводится не морфологическая только граница, но конкретная, религиозно-историческая с ясным сознанием, насколько к «морфологии» раскрывается внутренняя, свободно-духовная жизнь народов, насколько народы творчески ответственны за свою «морфологию», за свой строй и судьбу. Правда и непреходящая глубина славянофильской философии истории состоит в ее ярком *Христоцентризме*, в чуткой восприимчивости к подлинной исторической динамике, к динамике не только органических круговоротов, но и творческого действия и греховного распада. Старшие славянофилы знали и чувствовали *трагедию Запада*, и боялись ее, и никогда не могли бы сказать, что Запад нам чужой, даже в его грехах и падении. И именно трагедия Запада евразийцы не замечают. Со спутанным и косым набором понятий подошли они к страшной проблеме России и Европы. И не смогли четко поставить проблему ее. Морфологический мотив своеобразия неясно сплетается у них с мотивом религиозной этики. И остается до конца неясным, в чем для евразийства корень западно-европейской жизни, в национальной ограниченности, или в уклонении злой воли. Иначе сказать, есть ли тот соблазн, о который в своем пути безспорно преткнулся Европейский Запад, есть ли он исключительно западный соблазн, от которого по самому органическому сложению своему застрахованы и предохранены Евразийский Восток; или это — общий, хотя и многовидный соблазн, заложенный в самой динамике греховно-естественного человеческого строя и только подчеркнутый на Западе условиями времени и места... Евразийцы склоняются к первому ответу. Они признают наличие на Западе, даже под покровом ереси, абсолютно чуждых аспектов христианства; но эти «аспекты», по их толкованию, остаются «чуждыми православным народам и могут быть раскрыты только народами романо-германскими и *жизненно важны именно для них*». Под условием отречения от своего горделивого уединения и от ереси Запад мог бы взаимно *дополнить* Россию в объемлющем симфоническом единстве, но и в своем православии он остался бы чуждым Востоку, замкнутым от него, в своем «аспекте». Евразийцы не понимают до конца трагической судьбы Запада, не понимают *вселенского* смысла его падения и заблуждения, вселенского смысла «уроков отреченной вѣры». В неискреннем отчуждении евразийцы не видят, не чувствуют и не слышат живых, ищущих и страдающих западных людей, пусть слѣпых и даже злобных, но уже коснувшихся ризы Христовой, уже помазанных Его благодатью. Евразийцы прѣ-

доставляютъ ихъ свободѣ. Въ евразійствѣ нѣтъ чувства живой и конкретной религиозно- исторической круговой поруки, нѣтъ чувства ответственности за врученную Россіи правду Православія. Бресь и расколъ вызываютъ въ нихъ отвращеніе, гнѣвъ и злобу, вмѣсто жалости, боли и любви, все долготерпящей. Они довольствуются сухимъ и какъ бы самодовольнымъ требованіемъ «покаянія». Есть здѣсь какая то несправедливая самозамыкающаяся радость о счастливомъ обладаніи. Великая правда старинныхъ славянофиловъ была въ нихъ остроумъ чувствъ русской религиозно-культурной ответственности предъ Западомъ. Россія должна и призвана отвѣтить на западные вопросы. Русская мысль должна перестрадать западные соблазны, ибо это человѣческіе соблазны, соблазны призваннаго въ Церковь человѣчества. Нельзя ихъ обойти. Безъ искуса не закалится мысль. И соблазны снова придутъ, съ незащищенной стороны. Есть нѣкая тайна въ томъ, что именно тѣ, а не иные народы *прими* христіанство, хотя я не соблюли, не сохранили его. Не всѣ земли открыли христіанскому благовѣстію свое духовное лоно. Нельзя уменьшать ответственность каменистыхъ душъ. Но не слѣдуетъ впадать въ самодовольство о чужой неправдѣ...

Россія не Европа, говорятъ Данилевскій и повторяютъ евразійцы. Допустимъ и согласимся. Да, Россія не Европа, но *по какому мѣрилу* «не-Европа»? Въ евразійскомъ опредѣленіи смѣшиваются географическіе, этническіе, социологическіе, религиозные мотивы безъ яснаго сознанія ихъ разнородности. «Россія не Европа», допустимъ и въ извѣстномъ смыслѣ согласимся. Географически и биологически не такъ трудно провести западную границу Россіи, и можетъ быть, даже выстроить на ней стѣну. Врядъ ли такъ же легко и просто, раздѣлить Россію и Европу въ духовно-исторической динамикѣ; и врядъ ли это нужно. Нужно твердо помнить, имя Христа соединяетъ Россію и Европу, какъ бы ни было оно исклѣжено и даже поругано на Западѣ. Есть глубокая и неспящая религиозная грань между Россіей и Западомъ, но она не устраняетъ «аутренней мистико-метафизической ихъ сопряженности и круговой христіанской поруки. Россія, какъ живая пресмычка Византіи, останется православнымъ Востокомъ для неправославнаго, но христіанскаго Запада *внутри единого культурно-историческаго цикла*.

Россія есть Евразія. Согласимся, но потребуемъ твердаго и яснаго опредѣленія этого удачнаго, но смутнаго имени. Въ немъ есть двусмысленность, и сами евразійцы вкладываютъ въ него разные смыслы. Евразія, — это значить: *ни* Европа, *ни* Азія, — *третій* міръ. Евразія, это — и Европа и Азія, помѣсь или *синтезъ*

двух, съ преобладаніемъ послѣдняго. Между этими пониманіями евразійцы колеблются. Геософически они довольно легко проводятъ обѣ границы, и западную, и восточную. Но въ дальнѣйшихъ изларахъ восточная граница оставляется расплывчатой, и въ предѣлахъ Евразіи вводится слишкомъ много Азии. Всегда есть какое-то отвораченіе къ Европѣ и кренъ въ Азію. О родствѣ съ Азіей, и въ кровномъ и въ духовномъ, евразійцы говорятъ всегда съ подъемомъ и даже упоеніемъ, и въ этомъ подъемѣ тонуть и русскія, и православыя черты. Въ совѣтской современности, изъ подъ интернаціоналистической декоратіи, евразійцы впервые увидѣли «стихийное національное своеобразие и не-европейское, полуазиатское лицо Россіи-Евразіи», увидѣли и «Россію подлинную, историческую, древнюю, не выдуманную «славянскую» или «варяжско-славянскую», а настоящую русско-туранскую Россію-Евразію, преемницу великаго наследія Чингисхана». «Заговорили на своихъ призначныхъ теперь официальными языкахъ разные туранскіе народы, татары, киргизы, башкиры, чувашы, якуты, буряты, монголы стали участвовать наравнѣ съ русскими въ общегосударственномъ спрительствѣ и на самихъ русскихъ фисіономіяхъ, ранѣ казавшихся чисто-славянскими, теперь замѣчаешь что-то тоже туранское; въ самомъ русскомъ языкѣ зазвучали какіе то новые звукосочетанія, тоже «варварскія», тоже туранскія. Словно по всей Россіи опять, какъ семьсотъ лѣтъ тому назадъ, запахло жженымъ вязякомъ, конскимъ потомъ, верблюжьей шерстью — Туранскимъ, кочевымъ... И встаетъ надъ Россіей тѣнь великаго Чингисхана, объединителя Евразіи... «Наше отношеніе къ Азіи интимнѣе и теплѣе, ибо мы другъ другу родственнѣе» — утверждаютъ евразійцы. Евразійская культура именно «въ Азіи у себя дома», ей ближе всего «азиатскія культуры», и «для ея будущаго необходимо... совершить *органический поворотъ къ Азіи*». Смысль и содержаніе этого поворота остается неяснымъ. Историческаго взаимодѣйствія Россіи съ Азіей не приходится отрицать, и вѣрно, что до сихъ поръ мы это мало знали. Русскую Азію до сихъ поръ мало изучали, и мало чувствовали и понимали русскія задачи въ Азіи. И въ этомъ отношеніи есть извѣстная правда у евразійцевъ. *Свою* русскую Азію, Азію въ Россіи, географическую и этническую необходимо узнать и освоить, понять ея государственныи смыслъ и вѣсь, — но это должно въ послѣднемъ счетѣ вести къ *обормленію и укрѣпленію восточной границы Россіи*. Вѣрно, въ своемъ народно-государственномъ сложеніи и бытїи Россія не вмѣщается въ *географическую* Европу, и «азиатская (зауральская) Россія» не есть колониальный приртокъ, но живой членъ единаго тѣла. Однако, все это имѣетъ государственный и эконо-

мическій, но не религиозно-культурный смысл. Евразійцы переходятъ въ этомъ направленіи внутреннія мѣры и расширявають восточную границу Евразіи. Они слишкомъ увлекаются природными, географическими и этническими признаками и забываютъ, что единственная четкая грань, опредѣляющая безъ колебанія и спора дѣйствительныя культурно-естественныя границы Евразіи-Россіи, какъ *историческаго* «третьяго міра» (не только какъ «части свѣта», материка или «континента-океана»), заключается въ Православіи. Какъ *Православный* міръ, Россія отлична отъ латинно-протестантской Европы, *не болѣе* чѣмъ отъ южн. не-христианской Азіи, — при чемъ въ равной мѣрѣ въ народно-государственномъ тѣлѣ Россіи имѣются островки и оазисы и Европы и Азіи. Правда, евразійцы пытаются утвердить и явное религиозное единство Евразіи, страннымъ образомъ безъ снятія граней по вѣрѣ. Они не останавливаются на правилѣ вѣрогнѣхности. Они торопятся подъ него подвести не только религиозно-нравственное, но религиозно-мистическое основаніе. Такъ слагается соблазнительная и лживая теорія «потенціального Православія». Въ евразійствѣ сложилась нѣкая розовая сказка объ язычествѣ и въ ней къ тому же совершенно забыто коренное различіе между «язычествомъ» до христіанскимъ и «язычествомъ» послѣ христіанскимъ. Здѣсь вѣдь не одно хронологическое различіе: въ сохрпненіи своего «языческаго» облика послѣ Христа исторические субъекты не только мистико-метафизически, но и эмпирически проявляютъ и упражняютъ безспорное противленіе неіаіѣ. Никакими историческими справками нельзя подтвердить евразійскаго заявленія, будто «не будучи сознательно упорнымъ отреченіемъ отъ Православія и горделивымъ пребываніемъ въ своей отъединенности, язычество скорѣе и легче поддается призывамъ Православія, чѣмъ западно-христіанскій міръ, и не относится къ Православію съ такою же враждебностью». Знакомство съ исторіей *православной* миссіи въ «евразійскомъ» мірѣ открыла бы евразійцамъ нѣчто иное. И на эту исторію нельзя возражать интеллигентской легендой о фальшивыхъ приемахъ и формахъ русскаго миссіонерства, вроде того неправдника мусульманина, получившаго Владимира въ петлицу за обращеніе магометанъ въ православіе, о которомъ еще рассказывалъ Герцель. Нужно вспомнить имена святителя Инокентія Иркутскаго, митрополита Инокентія Московскаго, Нила, архіепископа Ярославскаго, архимандрита Макарія Глухарева, архіепископа Иркутскаго Веніаміна, Казанскаго архіепископа Владимира, приснопамятнаго святителя японскаго Николая. Всѣ они пламенѣли духомъ чистаго апостольства. И сталкивались съ упорнымъ противленіемъ невѣрующаго во Христа міра. Надо вспом-

вить их опыт. И тогда рухнет до основания евразійская декламация объ Язычествѣ, какъ не очель стойкомъ, «смутномъ и начальномъ сознаніи истинны», декламация о томъ, что, если «языческій» міръ *свободно* устремится къ саморазвитію, *свободное* его саморазвитіе будетъ его развитіемъ къ православію и приведетъ къ сознанію специфическихъ его формъ». Евразійцы черезчуръ «цѣвятъ своеобразие и будущее» евразійскаго «потенциально-православнаго міра», и во имя этого своеобразія готовы изградить уста благовѣстникамъ истинны. въ расчетъ на саморазвитіе «наивнаго» язычества. Страпнымъ образомъ, подъ общее и расплывчатое понятіе этого будто бы «наивнаго» язычества подводится и буддизмъ (ламаизмъ), и даже исламъ. Въ русской исторической дѣйствительности даже недавняго прошлаго именно татаро-мусульманская и монголо-ламайская стихія оказывала бурное прогнвненіе духу Святой Руси, — не руссификаціи, но духу Православія и церковности. Евразійскій разсказъ о буддизмѣ и исламѣ поражаетъ смѣлою тѣйствительной наивности и кощунства. Думается, въ прежнихъ сужденіяхъ о «религии Индіи и христіанствѣ» евразійскіе авторы были ближе даже къ объективно-исторической правдѣ, чѣмъ въ генеральныхъ заявленіяхъ о «предлудствіи» Богочеловѣчества въ теоріи «бодисатвъ». Въ перемѣнѣ евразійскаго отношенія къ буддизму есть логика тактики: буддизмъ оказался не только въ Индіи и въ Европѣ (подъ именемъ теософовъ), но и въ Евразіи, и стало необходимо и изъ какъ то ввести въ составъ евразійскаго «единства въ многообразіи»... Обь опасностяхъ русскаго ламанизма евразійцы не то забываютъ, не то просто не знаютъ. И то же надо сказать объ исламѣ. Опять таки не приходится говорить и здѣсь о «нестойкости» и певниности. Религіозное нечувствіе евразійцевъ къ языческимъ ядамъ, если оно происходитъ не отъ приснособительнаго легкомыслія, является логическимъ завершеніемъ ихъ общаго историческаго морфологизма, который требуетъ признанія, пріятія и оправданія всѣхъ эмпирически подмѣчаемыхъ чертъ «своеобразія». Религіозныя характеристики попадаютъ въ общій счетъ. И въ концѣ концовъ и на Православіе евразійцы смотрягъ и должки смотрѣть, какъ на культурно-бытовую подробность, какъ на историческое достояніе Россіи. Евразійцы чувствуютъ *православную стихію*, переживаютъ и понимаютъ православіе какъ *историко-бытовой фактъ*, какъ подсознательный «центръ тяготѣнія» евразійскаго міра, какъ его (*именно его*) потенцію. И вмѣстѣ съ тѣмъ конкретно-практическія задачи Евразіи они опредѣляютъ совѣмъ не по этому «центру», не по живому православно-культурнаго самосознанія, но по размысленій теософическаго, этническаго, государствеп-

но-организационнаго порядка. Для нихъ именно «монголы» формулировали историческую задачу Евразіи, положивъ начало ея политическому единству и основавъ ея политическаго строя». И потому Россія превращается въ ихъ соотавнн въ «Наслѣдіе Чингисхана». Россія есть переродившійся «московскій улусъ», и евразійцы даже какъ бы скорбятъ о «несоществившейся исторической возможности» окончательной организаціи Евразіи вокругъ Сарая, о неоправданномъ «предположеніи» перехода сарайскихъ хановъ въ православіе. Не то не хватило у хановъ «свободы самоопредѣленія изъ себя, не то вопреки евразійскому мечтанію, «плотничальное православіе» татаръ оказалось мнчимъ. Соблазнительный и опасный, хотя можетъ быть, желанный и самичъ евразійцамъ смыслъ превращенія Россіи въ «улусъ» и «наслѣдіе Чингисхана» заключается въ сознательно-волевымъ выключеніи Россіи изъ перспективы истории христіанскаго, крещенаго міра и перенесеніи ея въ рамки судебъ не христіанской, «басурманской» Азіи. Въ исторіософическомъ «развитіи по Чингисхану» есть двоякая логика: и креть въ Азію, и еще болѣе опасное суженіе русскихъ судебъ до предѣловъ государственнаго строительства. При всей правдѣ терзаваго самосознанія, оно не должно поглощать въ себя культурной воли, воли къ духовной свободѣ. Въ евразійскомъ толкованіи русская судьба снова превращается въ исторію государства, только не російскаго, а евразійскаго, и весь смыслъ русскаго историческаго бытія сводится къ «освоенію мѣстосторазвитія» и къ его государственному оформленію: «Монгольское наслѣдство, евразійская государственность» заслоняетъ въ евразійскихъ схемахъ «византійское наслѣдство, православную государственность». И при этомъ евразійцы не чувствуютъ, что вовсе не одинъ «строй идей» получила Россія отъ Византіи, но богатство Церковной жизни. Это и даръ, и званіе, и призваніе. Этимъ даромъ задается и опредѣляется «историческая миссія» Россіи, въ перспективахъ культурнаго бытія, не евразійской «плотью» и не враждебнымъ лицомъ.

Странное дѣло, чрезъ мѣру словоохотливые на разсужденія о Православіи и о Церкви въ отвлеченно-метафизическомъ планѣ, евразійцы умоляютъ въ планѣ «феноменологическомъ», при разборѣ, толкованіи и учетѣ дѣйствительныхъ, жизненныхъ силъ и отношений. Въ евразійской «феноменологіи» русской современности для Церкви мѣста нѣтъ. Въмѣсто этого евразійцы разсуждаютъ о русскомъ «мистическомъ рационализмѣ», о религиозныхъ настипктахъ, о «потребностяхъ и навывахъ» русскаго септанства. И призываютъ совершить какой-то «сектантскій исходъ», — неясно, откуда и куда. По повѣйшему евразійскому утверженію,

«до тех пор, пока в самой сердцевине интеллигенции и народа не зародятся вновь внутренние таинственные процессы сектантского исхода, которые вскружат, поднимут и организуют новых современных людей, до тех пор можно с рѣшительностью сказать, что у русских коммунистовъ противниковъ нѣтъ». Въ сектанствѣ евразійцы увидѣли теперь «метафизическій наездъ подлинной русской религіозности». Есть большая двуединность въ евразійскомъ отношеніи къ Церкви. Съ одной стороны, государство какъ бы отдѣляется отъ Церкви, сохраняя, впрочемъ, въ своей полномощной юрисдикціи и власти «представителей Церкви», и, болѣе того, сохраняя за собой право и свободу «раскрывать религіозную свою природу и руководствоваться опредѣленными имъ самимъ, а не диктуемыми «Церковью» религіозными конкретными заданиями». Правда, евразійцы поясняютъ эту мысль какъ будто успокоительными примѣрами. Государство «можетъ, напримѣръ, взять на себя именно въ данный моментъ необходимую защиту Православія отъ воинствующаго католичества и организовать религіозное воспитаніе и обученіе въ своихъ школахъ, предложивъ Церкви принять въ немъ *подъ контролемъ государства* добровольное участіе... Но въ петрудно угадать и другія возможности «религіознаго» самоопредѣленія и самоуправления евразійскаго государства. Сами евразійцы намекаютъ, что государство можетъ въ видахъ охраненія свободы и самобытности развитія нехристіанскихъ исповѣданій, воспретить всякую Православную миссію и благотворіе среди лютеранскы и сектантовъ, и потребовать молчанія Церкви о своихъ дѣйствіяхъ въ пользу ислама или буддизма, какъ нѣкоего «потенціального Православія». Не будетъ ли «религіозная природа» такого государства носить очень соблазнительный характеръ?...

Нужно сказать больше, въ евразійскомъ «государственномъ максимализмѣ» заложенъ острый и колючесивный соблазнъ. Въ евразійскомъ толкованіи все время остается цельнымъ, что есть культура (или «культуро-субъектъ»), — *становящаяся Церковь или становящееся государство*. Евразійцы колеблются между отвлѣтами. Съ одной стороны, «весь міръ (есть) единая соборная вселенская Церковь какъ единая совершенная личность», съ другой, *только* въ государствѣ и именно въ немъ «симфоническій народный субъектъ» получаетъ свое лицо. И при томъ нужно помнить, «сфера духовнаго творчества», потенциально и по заданію объединяемая въ Церкви, занимаетъ, по евразійской схемѣ, мѣсто вѣчно подчиненное руководящей волѣ «государственного актива», обладающаго ею на началахъ «безусловнаго господства». Слѣдуетъ вспомнить, что этотъ «активъ» или Партія съ большой

буквы. имѣеть «свою символику и свою мистику»... Не превращается же она въ какую-то самозванную «церковь» надъ Церковью — самозаконная, самодовлѣющая, властная... по категорическому разъясненію евразійскихъ авторовъ, тварные субъекты свое лицо и «личность» вообще получаютъ только и впервые во Христѣ, чрезъ причастіе единственной подлинной Личности и уюности Богочеловѣка. Не приходится ли, по силѣ евразійской послѣдовательности, признать, что именно въ государствѣ и только въ немъ и народы и составляющія ихъ низшія «соборная» личности приобщаются и соединяются Христу? Такое допущеніе ловѣщимъ, но дѣйствительнымъ призракомъ встаетъ надъ евразійствомъ, какъ тѣнь Великаго Звѣря... Въ послѣднемъ счетѣ, для евразійцевъ Церковь въ государствѣ, не государство въ Церкви, — *ecclesia in re publica, не res publica in ecclesia*. Изъ этихъ формулъ, намѣтившихся во всей остротѣ еще во времена Равноапостольнаго Константина, евразійцы выбираютъ во внутренней волѣ первую.. И съ этимъ связана послѣдняя невязка ихъ религиозно-исторической философіи культуры.

Въ евразійскомъ толкованіи путь личности къ Богу опосредствованъ всею сложною системою тѣхъ естественныхъ, кровныхъ и мірскихъ социальныхъ центровъ, къ которымъ индивидуумъ принадлежитъ. Возсоединяется съ «религиозною сущностью міра» личность только въ составѣ объемлющихъ ее «симфоническихъ» цѣлыхъ. И здѣсь сказывается острое смѣшеніе разнородныхъ плановъ, перекрещивающихся, но не сливающихся въ историческомъ становленіи. Церковь—«не отъ міра сего». Конечно, вмѣстѣ съ тѣмъ въ послѣднемъ, религиозно-метафизическомъ счетѣ. Церковь есть идеальная цѣль и призваніе міра. Но это — цѣль, міру сему, въ его кровномъ и естественномъ строѣ, запредѣльная. Міръ «становится» Церковью только въ своемъ *пресуществленіи*, переставая въ извѣстномъ смыслѣ быть самимъ собою. Въ этомъ «становленіи» міръ перерождается и преобразуется, какъ бы перестраивается по инымъ, сверхтварнымъ началамъ. Всѣ кровныя связи надрываются и отминаятся, и слагаются новыя, иныя, благодатныя, по усыновленію Богу черезъ Христа. Въ Церкви все становится новымъ. Потому и требуется отъ оглашаемаго въ предкрещальномъ исповѣданіи отреченіе отъ міра, отъ порядка плоти и крови, и только чрезъ это отреченіе становится возможнымъ крещальное рожденіе отъ Духа Святого. Христіанство требуетъ разрыва самыхъ брѣвѣнныхъ и дорогихъ кровныхъ связей: «яко Я пришелъ раздѣлить человѣка съ отцомъ его, и дочь съ матерью ея, и невѣстку со свекровью ея; и враги человѣку домашніе его» (Мф. X. 35—36). И этотъ разрывъ родовыхъ и кровныхъ связей

требуется не только для подвига личного религиозно-правственного восхождения, но и для подвига мірского, общо-гвнного устройства. «Зане уды есмь тѣла Его, огъ ишоты Его и огъ костей Его. Сего ради оставиахъ человекъ отца своего и матеръ, и приидишася къ жиѣи своей, и будеть два въ плоть одну. Тайна сія велика есть: азъ же глаголю во Христа и во Церковь». (Еф. V. 30—32). Семья не есть *кровная* ячейка или «біологически обоснованный микрокосмосъ культуры». Нѣтъ, христіанская семья слагается въ *разрывѣ* кровныхъ связей, и чрезъ вольное избраніе и свободную любовь, по образу таинственнаго обрученія и брака Христа-Агнца съ Церковью. И семья, какъ нѣкая церковь, есть прообразъ и мѣра всѣхъ высшихъ общественныхъ союзовъ и соединеній, когда они устроятся по чѣрѣ Христовой. Органическая неволя въ церковной семьѣ преобразуется въ духовную свободу, чрезъ «*благодать чистаго единодушія*». Церковь есть полнота бытія. Церковь объемлетъ и должна объять все благое въ твари и достойное благодатнаго увѣковѣченія, но объемлетъ не въ порядкѣ достоянія имперіи до Церкви, *не въ порядкѣ развитія міра въ Церковь*, но въ порядкѣ его *предложенія* къ нею, какъ въ Тѣло Христово, по новому закону Духа и свободы. Церковь не создается и не осуществляется въ процесѣ мірскаго культурнаго строительства. Культура не есть ступень Церковнаго сложенія, хотя бы въ качествѣ «начально организованнаго матеріала собственнаго своего церковнаго бытія». Не все входитъ въ Церковь, многое и слишкомъ многое останется за ея порогами, и не только по грѣху, но и поному, что не все *призвано* къ наслѣдію вѣчной жизни, — не по несовершенству только, но по широтности небесной жизни. И потому болѣе чѣмъ небрежно сказать, что «Православная русская Церковь эмпирически и есть русская культура, становящаяся Церковью». Евразійцы слишкомъ нагружаютъ Церковь міромъ и мірскимъ. Плоть и кровь не паждуютъ вѣчной жизни. Это не отрываетъ христіанства отъ земли, не «выпариваетъ» его изъ жизни. Но Церковь всегда остается въ странствіи на исторической землѣ, всегда чуждая духу вѣка сего, собирая къ духовному рожденію чадъ своихъ изъ *всякаго* народа. Евразійцы не чувствуютъ, что нѣтъ и не можетъ быть въ нашемъ человечествѣ вообще ни одного народа, для котораго христіанство было бы *своимъ* и *родимымъ* въ порядкѣ естественнаго рожденія. И даже для рожденныхъ въ православіи, т. е. отъ крещенныхъ отцовъ и матерей, оно остается чужимъ, до усвоенія его въ «купели усыновленія», до крещальнаго втораго рожденія; нельзя ссылаться на то, что человеческая душа «по природѣ» христіанка, — вѣрнѣе сказать, христіанка *по призванію*, по той идеальной «природѣ», которая *ни-*

когда не была осуществлена и боже того была отвергнута во вольномъ человѣческомъ грѣхопадѣніи, и такъ и осталась заданіемъ и призваніемъ, а при томъ недосуществимымъ члго человѣческими силами въ нѣкъ новомъ разбитомъ составѣи не только безъ помощи Божіей, но и безъ «новаго творенія». безъ перваго акта Божественнаго сплсхожденія въ тварную жизнь. Въ грѣхопадѣніи осуществилась члго-человѣческая обезбоженная «природа», «нестественная» въ отношеніи къ Божію призванію, и даже прогнво-естественная, но какъ бы «естественная» въ рамкахъ замкнувшейся отъ Бога твари. И для такой грѣховней «природы» христіанство всегда есть «насиліе», «Царствіе Божіе нудится, и нужницы вѣсхнщаютъ е»... «Развивься» во христіанство и до христіанства *такое* человѣчество само изъ себя не могло и не можетъ, оно должно переродиться, обновиться въ своемъ естествѣ. Въ евразійскомъ изображеніи этотъ процессъ теряетъ свою гнудность, — у евразійцевъ есть явный уклонъ въ угарѣлое идеогнганство. Воцерковленіе людей и еще болѣе народовъ всегда остается незаконченнымъ не въ силу одной только эмпирической ограниченности историческаго быванія, но и по грѣховной инертности и «немоги» грѣшно-естественной среды, сконывающей члену, плѣняющей волю. О христіанскихъ народахъ, о Православной Россіи въ частности, можно сказать, что они имѣютъ христіанское происхождение. Но это происхождение въ духѣ и благодати приходитъ охранять и сохранять, блжснн и непрестанно возсозидатъ рѣ, неуклонномъ подвигѣ и восхожденіи; это — динамическій процессъ, всегда въ какой то мѣрѣ надъ бездною отпаденія. Христіанство не можетъ всосаться въ кровь и держаться силою одной исторической, бытовой инертнн. Это — творческій процессъ, всегда требующій отвѣтственнаго напряженія. Противоположность «природы» и «благодати» въ *этомъ* смыслѣ данности и заданности, а не только неполноты и полноты, потенціи и акта, всегда остается неспятой и внутри церковно-историческаго бытія. Всегда остаются два плана. Конечно, въ извѣстномъ смыслѣ, во всякомъ подлинномъ воцерковленіи побждается «естества члннн». Но не *все* человѣческое перегорааетъ и просвѣтляется въ этомъ процессѣ. Ибо Царствіе Божіе не есть «всеслпство» въ томъ смыслѣ, что въ него войдетъ *нумерическое* «вс», да еще во многообразіи своихъ колеблющихся превращеній (а не простыхъ ступеней роста, какъ представляется нлнмъ евразійцамъ). Кое-что во всякомъ случаѣ достигается на долю «тмы громѣшной». А многое останется проето за порогомъ вѣчности, какъ принадлежность одного только времени. — такъ напримѣръ, все формы земной, народно-государственной и хозяйственной организаци. остающіяся и даже осви-

щаемыя въ оцерковленномъ бываніи, но снимаемыя и преодолюваемыя въ самой Церкви, какъ тѣлеснои. Тѣлѣ Христовомъ. Врядъ ли и народы, какъ кровныя организмы, войдутъ въ Царствіе, — конечно, *нечаянности* къ данному народу и эпохѣ, какъ конституціонный элементъ духовнаго строя, сохранится, какъ сохранится въ воскресшемъ тѣлѣ и личный обликъ плоти, но самыя эмпирическія и земныя формы не войдутъ въ вѣчное Царство Славы. когда и времени уже не будетъ, какъ не входятъ онѣ и сейчасъ въ Царство Благодати, въ эпоху времени и смѣны. Ибо здѣсь уже снята грань между варваромъ и скиномъ, рабомъ и свободнымъ, хотя и остается она еще въ оцерковленномъ и окоцерковномъ мірѣ. Идея симфоническаго многообразія во единствѣ слѣдуетъ евраійцевъ, — ихъ вниманіе разсѣивается по множественности, они подчеркиваютъ различія, и въ итогѣ само православіе распадается у нихъ на «многія исповѣданія», національныя по гнѣву. Въ этой мысли есть доля правды: каждый вѣруетъ по своему, ибо процвѣтающая дѣлами вѣра есть со своей субъективной стороны неизотворимый и неизмѣнимый личный путь и подвигъ; неужели же слѣдуетъ говорить и о «личныхъ исповѣданіяхъ». О нихъ все же скорѣе, чѣмъ о народныхъ. И, главное, весь смыслъ и цѣнность не въ томъ, что разное, но въ томъ, что едино, во Христѣ, и Онѣ, по апостольскому слову, *тотъ же*, и днесъ, и до вѣка...

5.

Россія въ развалинахъ. Разбито и растерзано ея державное тѣло. Вздурожжена и оравлена, и потрясена русская душа, и проходить по мытарствамъ огненнаго испытанія, — и въ нихъ перегораешь, переплавляешься. Видно, не исполнилась еще внутренняя мѣра, не истекли, не свершилась еще тайные времена и сроки. И вспоминаются мудрыя слова одного изъ нашихъ владыкъ. «Доволь, Господи! — спрашиваемъ и не понимаемъ, что въ нашей это волѣ, отъ насъ зависитъ, отъ нашего подвига и смиренія. Вотъ открылись на Руси дивные знаки, Божія промышленія, — знаменія, чудеса... И никто не разслышалъ, не понялъ ихъ вѣщаго смысла. — что дѣлать Господь о Россіи... И знаменія сокрылись... Еще рано... Еще не прозрѣла, не готова наша душа... Ибо только въ отпѣтъ на державеніе возмекнувшей вѣры, въ отвѣтъ на подвигъ духовнаго стяжанія открывается Нечаянная Радость. — «сверломъ Божіей воли».

Есть собственныя гонимаго маловѣрія въ тоскѣ нетерпѣливаго ожп-

данія, — и въ немъ прикрывается лукаваа уклончивость немощной воли. Въ русской смутѣ открылась снова и поставлена передъ нами великая и жуткая задача духовнаго созиданія и возсозиданія.

Соблазнъ слѣпыхъ мірскихъ пристрастій побѣдилъ и обезси- лилъ и въ евразійствѣ его печальную правду. Евразійцы духовно ушиблены нашимъ «разсвѣніемъ», утомлены географической раз- лужкой съ родиной. И есть безспорная правда въ живомъ паоосѣ родной территоріи. — дорога и священна родимая земля, и не оторваться отъ нея зъ памяти и любви. Но не въ крови и почвѣ подлинное и вѣчное роство. И географическое удаленіе не нару- шаетъ его, если сильны и крѣпки высшія духовныя связи. И за рубежомъ есть и творится Россія, и въ насъ, по плоти отъ нея удаленныхъ, но въ волѣ и духѣ крѣпкихъ ей, можетъ и должна со- зидаться, и создается она. И мы можемъ и должны быть не толь- ко сторонними зрителями, но и творческими со-участниками и со- вершителями русскихъ судебъ и русской судьбы. — не въ порядкѣ вѣшняго вмѣшательства, не въ грезахъ о вторженіи и насилии, но въ творческомъ со-переживаніи, со-страданіи и преодоленіи тра- гизма русской души, въ со-чувственномъ духовномъ дѣланіи и со- бираніи, въ устроеніи себя въ живые камни родного дома. Конечно, по родной территоріи проходить магистраль родной судьбы. Но и намъ доступно духовное со-пребываніе съ Россіей и въ Россіи, творческое, дѣйствительное и живое. Евразійцы поспѣшно повѣ- рили въ нашъ отрывъ отъ Россіи, и въ увлеченіи споромъ съ бл- зорукими эмигрантскими доктринерами преждевременно сами се- бя убѣдили, что Зарубежная Россія всецѣмъ не Россія, и нѣтъ въ ней, и не можетъ быть творческаго русскаго дѣла. Отсюда какая- то рабская внимательность къ совѣтской дѣйствительности, ка- кая-то болѣзненная тропливость сѣсть на землю, пассивное ожи- даніе чудесъ отъ земли. Въ этомъ дурномъ кровавомъ почвенниче- ствѣ отражается внутренняя бездомность и беспочвенность, пси- хологія людей, связанныхъ съ родиной только черезъ террито- рію. Но подлинная связь черезъ любовь и подвигъ... Въ ихъ избраніи и волѣ Востокъ Ксеркса побѣдилъ Востокъ Христа. «Во- стокъ выше»... Не смогли и не сумѣли они понять и разгадать вѣщій смыслъ русскаго искуса, русской судьбы. Не Божій судъ и судное испытаніе распознали они въ русской смутѣ, но *открове- ніе* стихій. И въ стихійномъ зростѣ, въ вождѣннн водительства и власти погасла воля къ очищенію и подвигу Мечтательный и страстный паоосъ плоти подавилъ духъ творческой свободы. И жуткіе кругозоры русскаго горя закрылъ образъ новаго Левіафа- на. Въ этихъ грезахъ нѣтъ исхода, нѣтъ правды.

Но знаемъ и вѣримъ, пробуждается русская душа, и въ творческомъ самоотреченіи отъ своего дома прилѣпляется къ Дому Божію. И не въ умствованияхъ, и не въ надрывѣ, но въ бдѣніи и подвигѣхъ возстаиваетъ его. Вѣримъ и знаемъ, Великая Россія воскреснетъ и возстанетъ тогда, и только тогда, когда воскреснемъ, возстанемъ мы въ молитвенной силѣ. Ибо Россія, это — мы, каждый и всѣ, хотя и больше она каждого и всѣхъ. Ибо каждый изъ насъ въ своемъ подвигѣ собираетъ и созидаетъ Россію, и въ своей косности и паденіи разоряетъ и безлеститъ ее. Ибо каждое паденіе разлагаетъ творимый народный духъ, и въ личныхъ возрастаніяхъ святится онъ и просвѣтляется священно тайно. О семи праведникахъ міру стояніе, и о семи злодѣяхъ приходитъ погибель ему. Въ самихъ себѣ, каждый и всѣ въ круговомъ общеніи и порукѣ, должны мы напряженіемъ творческой воли сгронть и созидать новую Россію, не осуществленную по нашей немощи и небреженію Святую и праведную Русь... И тогда воздвигнутся стѣны Иерусалимскія!

Георгій В. Флоровскій.